---------------------------------------------

 Александр Абрамов, Сергей Абрамов

 Фирма "Прощай, оружие!"

 1

 Эрнест Браун, научный сотрудник Международного института нейрокибернетики, задержался в Париже. Отпуск он провел в бретонской деревушке на берегу океана, наслаждаясь недосягаемым для него в институте покоем, а последнюю неделю отдал великому городу. Он не любил туристского Парижа, не глазел на Нотр-Дам, не торчал в Лувре и не подымался на башню Эйфеля. Он предпочитал тихие набережные Сены, ларьки букинистов, древние улички, уцелевшие со времен Людовиков, и дешевые бистро в полуподвальчиках с пыльными бочками, из которых вам тут же цедили сидр или пиво.

 В одном из таких полуподвальчиков, в пивной «Клиши», куда Браун зашел утром, он застал только одного посетителя — седоватого, немолодого француза с проплешинами на висках и слегка крючковатым носом, чем-то напоминавшего знаменитого Де-Фюнесса в роли полицейского Жюва в неувядаемой серии «Фантомасов».

 — Похож? — общительно подмигнул он, встретив внимательный взгляд Брауна.

 — Похож, — согласился тот, присаживаясь напротив.

 — Только не хвастун и не идиот, — сказал француз, — а в остальном все сходится. Даже профессия и место работы. Луи Фонтен, полицейский комиссар и начальник оперативной группы, — представился он.

 Браун назвал себя.

 — Погодите, — перебил его собеседник, — дайте щегольнуть дедукцией. Судя по фамилии — немец, судя по произношению — не эмигрант, судя по тому, что с утра забрели в «Клиши», — в отпуску и судя по значку на лацкане — кибернетик.

 Браун засмеялся: все правильно. Фонтен почему-то вздохнул, добродушные глаза блеснули металлом, в губах, сжавших сигарету, промелькнула твердость, даже суровость, и сходство с Жювом исчезло.

 — Сейчас я бы сравнил вас с Мегрэ, — сказал Эрнест.

 — Так всегда: то Жюв, то Мегрэ, — устало заметил Фонтен, — а между прочим, у нас в управлении нет ни болванов, ни гениев. Обыкновенные криминалисты. Лентяи и работяги. Старики и юнцы. Профессионалы и дилетанты. И работа рутинная, не то что у вас. Кстати, детализировать не берусь.

 — Энграммы памяти, — подсказал Браун.

 — А проще?

 — Приборы, воспроизводящие отпечатки памяти в клеточках мозга. Зрительные образы, тексты, формулы. Есть приборы, записывающие звуковые образы, слова, крики, шумы — всё, что порой хранит и группирует память. Ухитряемся воспроизводить даже запахи. Запомнил, скажем, человек запах духов, или химической реакции, или росистой травы на заре — мы и воспроизводим эти энграммы.

 — Только у живых?

 — Я знаю, что вас интересует, — заметил Браун: вопрос был чисто профессиональный. — Можем ли мы воспроизвести то, что сохранила память в последние часы или даже мгновения перед смертью? Лицо убийцы, образ любимой, письмо или слова, толкнувшие на убийство или самоубийство, так? Можно. Только если запись произведена непосредственно после смерти, пока еще не начался распад мозговых тканей.

 — Запись произведена через тридцать пять минут после смерти, — сказал Фонтен.

 Эрнест подумал, что приобщается к одной из криминалистических загадок инспектора.

 — Каким прибором? — спросил он.

 — Вашим. Модель «Эф три дробь двенадцать». Без трансформатора.

 — Последняя, — подтвердил Браун. — Как просматривали? Видеоскоп или кинопленка?

 — Пленка. На обычном экране. Меня интересует, — задумчиво прибавил Фонтен, — может ли получиться бесформенное изображение.

 — Аппарат исправный?

 — Вполне.

 — Что значит «бесформенное»? Зрительный образ всегда достаточно ясен. Он может быть нечеток, расплывчат, но в этом случае применяется усилитель. Вот и все.

 — А если это пятна? Чередующиеся цветные пятна без строгой формы. Иногда полосы или значки.

 — Математические?

 — Нет.

 — Иероглифы?

 — Тоже нет. Мы проверяли.

 — Быть может, это увеличенные под микроскопом частицы какого-нибудь вещества, особо окрашенные?

 — Он не интересовался микромиром. Кроме того, мы консультировались со специалистами во всех областях, где применяются кодированные обозначения, и всюду отрицательный ответ. Не то.

 — А что же?

 — Неизвестно.

 Браун пожал плечами: с такого типа энграммами ему не приходилось встречаться.

 — Придется вам все объяснить, — сказал Фонтен. — Марсель, еще две кружки, — кивнул он буфетчику. — Вы когда-нибудь слышали о Лефевре?

 — Вы имеете в виду нейрофизиолога?

 — Да. Он умер в четверг на прошлой неделе.

 Эрнест признался, что несколько дней не читал газет. А в том, что сообщил ему инспектор, не было ничего примечательного, кроме самого факта смерти выдающегося ученого. Умер он внезапно, но естественно: от разрыва аорты, хотя был не так уж стар и на сердце не жаловался. Как ученого Эрнест знал его по ранним, получившим широкую известность работам, более поздние не публиковались или прошли мимо Брауна. Как человек, Лефевр был ему крайне несимпатичен: волк-одиночка в науке, политический реакционер, противник международных союзов и соглашений, он почти не принимал участия в мировых симпозиумах и конгрессах. В последние годы, однако, Лефевр работал у Бертье, подлинного классика европейской нейрофизиологии, что уже само по себе заставляло отнестись к нему с достаточным уважением. Об этом и напомнил Браун Фонтену.

 — Он порвал с Бертье, — сказал инспектор.

 — Из-за чего?

 Фонтен улыбнулся, должно быть вспомнив свои попытки выяснить это у самого Бертье, требовательность которого к ассистентам, граничившая с одержимостью, равно как и корсиканская вспыльчивость, была многим известна.

 — Какая-то проблема, показавшаяся Бертье слишком оригинальной. Что-то вроде механо-телепатической передачи ваших энграммов. Он назвал ее авантюрой. Все это понятно: с Бертье уживаются архаисты, а не новаторы. Любопытно другое. Через неделю после разрыва с Бертье Лефевр получил неизвестно от кого загородную виллу и оборудовал там неизвестно на чьи средства загадочную лабораторию.

 — Почему загадочную?

 — Потому что назначение ее и сейчас неизвестно.

 Браун, поначалу было увлекшийся, начал уже терять интерес к этой истории. Не увлекла его и загадочная лаборатория для каких-то телепатических опытов: в телепатию он не верил. Правда, там было слово «механо», но и это не заинтересовало Брауна: вероятно, Бертье был прав, назвав идею Лефевра авантюрой. Старик редко ошибался.

 — Так в чем же суть? — спросил он только из вежливости. — В том, что вы рассказали мне, нет ничего любопытнее самих отпечатков памяти.

 — Есть, — сказал Фонтен.

 Глаза его снова блеснули металлом. Но это «есть» не относилось к смерти ученого. Смерть была обнаружена почтальоном, совершавшим свой вечерний обход, буквально тотчас же: ученый умер фактически на его глазах. Почтальон позвонил у двери — ему не открыли. Позвонил вторично и вдруг услышал за ближайшим окном глухой стук, как будто упало что-то большое и грузное. Он заглянул в окно — то было как раз выходившее в палисадник окно лаборатории Лефевра — и увидел на полу тело ученого. Не растерявшись, почтальон тут же разбил стекло, открыл окно изнутри и влез в комнату. Из горла уже умиравшего Лефевра ключом била багровая струя крови. Находчивый свидетель немедленно позвонил в ближайший полицейский участок, и буквально через десять — пятнадцать минут прибыл врач в сопровождении агента полиции. Лефевр был уже мертв, но агент, вооруженный портативным мемориографом, все же успел сделать запись.

 — В комиссариате ее посмотрели в обычном видеоскопе, вероятно только начальные отпечатки, ничего не поняли и прислали нам. Мне даже не докладывали: полицию не интересуют смерти, в которых никто не повинен, кроме господа бога. Но они знали, кому посылать: был у нас некий Мишо, страстный любитель всяческой супертехники.

 — Был? — спросил Эрнест.

 — Увы! Потому я с вами и разговариваю о деле Лефевра: оно связано и с участью Мишо. Он заинтересовался записью, переснял ее на кинопленку и прокрутил в просмотровом зале. Зал у нас наверху; был поздний вечер, кроме дежурных внизу, никого не было. Ему даже некого было позвать на помощь.

 — Зачем? — снова спросил Браун.

 — Когда человек умирает в одиночестве, он зовет кого-нибудь, это естественно. А Мишо умирал. Он успел только выключить проектор. Самая малость осталась — несколько витков на катушке. А умер он… — Фонтен сделал паузу, — от разрыва аорты, как и Лефевр. Только ему было двадцать три года и сердце, как у скаковой лошади.

 — Память фиксировали? — спросил Эрнест.

 — Нет. Его нашли только утром на другой день. Прошло более десяти часов, не было смысла записывать.

 — Экран включили?

 — Вихрь цветных молний и запятые. Одиннадцать сочетаний спектра. Часть запятых со шлейфом, как у вуалехвосток. Снимки со мной. — Он выложил перед Эрнестом десяток цветных фотографий.

 Тот внимательно просмотрел их. Они походили на мазню ребенка, балующегося красками, или на полотна абстракционистов, работающих кистью с пульверизатором, или на увеличенные под микроскопом вирусы в подкрашенной различными цветами среде, или… Браун даже не мог найти подходящего сравнения, настолько все это было сумбурно и непонятно.

 — А это — последняя. Та самая, которая была на экране, когда выключился проектор, — прибавил Фонтен и положил на стол еще одну фотографию.

 Она была столь же бессмысленна, как и другие, только полосы на ней, почти синусоидальные, были еще резче и радужнее, поражая переливчатой многоцветностью сочетаний. Местами их перебивали пятна, бесформенные, как кляксы, и головастики-запятые, взрывавшиеся на хвостах прозрачной распыленностью красок. Одни действительно походили на экзотических аквариумных вуалехвостов. Таких энграммов Эрнест не встречал за всю свою многолетнюю практику.

 — А может быть, именно это и убило Лефевра и уж наверняка — Мишо.

 — Вы убеждены? — спросил ученый.

 Фонтен ответил не сразу. Он словно взвешивал в уме все, что склоняло его к этой версии, и «взвешивание» все-таки не давало убежденности.

 — Конечно, у меня нет никаких доказательств. Даже катушку с пленкой шеф запер у себя в сейфе. «Не хочу, говорит, терять сотрудников. Все равно, что послать их в клетку с коброй».

 — Так вы хотите столкнуть с коброй меня? — усмехнулся Браун.

 — Вы сами захотите. Это загадка для ученого — не для сыщика. Кстати, есть еще одна любопытная деталь. С точки зрения сыщика. Через пару дней, после смерти Лефевра мне позвонил прокурор и раздраженно потребовал объяснений, кто и зачем поручил снимать у покойного отпечатки памяти. Я ответил, что запись сделана по инициативе агента и что нет закона, запрещающего делать такие записи у любого умершего человека. А прокурор явно чем-то встревожен, даже голос дрожит: «Что показала запись?» Я выкручиваюсь: «Ничего не показала — брак». — «Тогда немедленно уничтожьте ее: смерть естественна, незачем обижать родственников». А каких родственников, когда на похоронах, кроме консьержки и буфетчика из бистро, в его доме никого не было. Тридцать лет жил один как перст, и за ключами от виллы до сих пор никто не приходит. Тогда я только плечами пожал, ну, а после смерти Мишо сказал себе: нет, Фонтен, это не случай и не совпадение. Это преступление, Фонтен.

 — И начали, конечно, с классической римской формулы: cui prodesf — кому выгодно?

 — Кому выгодно? — зло переспросил Фонтен. — Кто купил виллу для Лефевра? Икс. Кто открыл ему текущий счет в Лионском кредите? Игрек. Почему и зачем? Зет. Вот вам и «кому выгодно»! А кому выгодна смерть Мишо? Прежде чем спрашивать «кому», надо спросить «как». Как умерли Лефевр и Мишо? Что означают эти полоски и хвостики и почему они яд? Словом, чем убивает кобра?

 Ученый уже давно решил, что загадка заслуживает внимания, но все еще сомневался, стоит ли вмешиваться. Отталкивало побочное, уводящее к детективу — неведомые покровители Лефевра, таинственный счет в банке, загадочная лаборатория. Впрочем, лаборатория и привлекала. Именно она могла ответить на вопрос «как», объяснить загадку убивающей памяти.

 — Вы, конечно, побывали на вилле? — спросил он.

 — По секрету? — подмигнул Фонтен. — Ордера у меня не было, да и кто бы мне его дал? Но побывать — побывал. Только беглый осмотр — ведь следов преступления не было. Хотелось выяснить какие-то личные интересы умершего, знакомства, связи…

 — Что-нибудь выяснили?

 — Нет. Никаких писем, записок, тайных секретеров. При лаборатории — небольшой архив, всего несколько ящиков, помеченных не цифрами, а буквами греческого алфавита и не подряд, а вразбивку — вероятно, каждая буква начинает какое-то слово или понятие. Может быть, поэтому в разных ящиках оказались папки с пометками: «Покой», «Превосходство», «Признательность» или, скажем, «Жестокость» и «Жалость». Древнегреческого не знаю, поэтому принцип хранения мыслю только предположительно. В папки заглянул, но мельком: какие-то диаграммы, кривые, подклеенные кусочки пленки, должно быть с осциллографов, записи вопросов и ответов, психологических тестов; словом, материал не для сыщика. В кабинете в кожаном бюваре тоже записи, на отдельных листочках, — так сказать, мысли по поводу или эмбриональные идеи. Например: у чувств и мыслей одна и та же волновая природа, все дело в длине и частоте волны. Или: цвет, как и музыка, действует на те же центры головного мозга; разница только в нервных рецепторах. Любую мелодию можно передать в цвете, подобрав для этого нужные сочетания. В общем, что-то вроде этого. Передаю, как запомнилось, и за точность не ручаюсь.

 — Меня интересует аппаратура, — сказал Браун.

 Фонтен поморщился: надо было признаваться в своем невежестве. Я, мол, не физик и не кибернетик, любую экспертизу проводят для меня лаборанты, а вся аппаратура, с какой приходится иметь дело, сводится к телефону, магнитофону и телевизору. Даже фотосъемку он поручает профессионалам. Но все же он попытался вспомнить, что видел на вилле Лефевра.

 — Что-то вроде вычислительной машины с индикаторами, электромагнит — мощность назвать не могу, какие-то счетчики, пульт с кнопками, радиопередатчик…

 — Зачем? — удивился ученый.

 — А может быть, и не радиопередатчик: не уточнял. И еще: сейф не сейф, может быть, холодильник, а может, и нет. На ощупь металл, похож на нержавеющую сталь особой обработки.

 — С подключенной проводкой?

 — Не проверял.

 — То, что вы рассказали, — задумчиво проговорил Браун, — отнюдь не похоже на лабораторию рядового нейрофизиолога.

 — А если не рядового?

 — Особых новаций у него что-то не помню. А лаборатория меня интересует. Очень интересует, — повторил Эрнест.

 — Так пойдемте — покажу, — настойчиво, не давая ему опомниться, произнес Фонтен. — Ключей, правда, нет, но можно открыть и без ключей.

 — Неудобно, — усомнился Браун, — что-то не совсем легальное. А я иностранец.

 — Вы эксперт. Официально приглашенный, понятно? — Инспектор вынул визитную карточку и написал на обороте: «Господин Эрнест Браун, научный сотрудник МИНКа, приглашен лично мной для официальной экспертизы по делу Лефевра — Мишо». — Получите, и едем. Только свяжусь с управлением.

 Он позвонил из будки рядом со стойкой, не закрыв двери:

 — Жакэ? Шеф звонил?.. Нет? Порядок. Будет звонить — скажи, что уехал в Сен-Клу по срочному делу. Какому — не знаешь. Нет, не все. Позвони прокурору. Он сейчас завтракает — извинись и спроси, нет ли меня у него в кабинете. Поясни, что меня разыскивает представитель МИНКа, приглашенный для экспертизы по делу Мишо. Мне интересно, что возгласит прокурор. Запомни точно. И сейчас же свяжись с Огюстом на телефонной станции. Пусть спешно выяснит, с кем только что говорил такой-то номер. Номер он знает. Потом позвонишь сюда. «Куда, куда»! В «Клиши», конечно! На всю операцию десять минут.

 — Что вы затеваете, инспектор? — насторожился ученый.

 Фонтен отвел глаза.

 — Служебные дела.

 — Но вы упомянули мой институт.

 — Один тест. Погодите. А пока по рюмочке перно для бодрости.

 На телефонный звонок он кошкой прыгнул в открытую будку.

 — Жакэ?.. Так. Отрицает необходимость экспертизы? Понятно. Будет говорить с шефом? Пусть говорит. С Огюстом связался?.. Так. Указанный номер тотчас же вызвал отель «Меркюр»? Понятно. Кого персонально?.. Кто, кто?.. Доктор Глейвиц из Дюссельдорфа, а вообще из Америки. Что значит «вообще»?.. Там живет, а в Дюссельдорфе дела. Допустим, что понятно. Тоже эксперт?.. Интересно!.. Как, как? Фирма «Прощай, оружие!»? Не слыхал. А что говорит портье?.. Ничего не говорит? Тоже понятно — чаевые. Повтори еще раз название фирмы… «Прощай, оружие!». Любопытно! Весьма!

 Он подошел к Эрнесту Брауну, суровый, как статуя Командора:

 — Слышали?

 — Все, — сказал Браун.

 — Так едем или не едем?

 — Едем.

 2

 Вилла «Шансон», купленная на имя Лефевра агентами по продаже земельных участков по поручению оставшегося неизвестным лица, находилась в трех часах автомобильной езды от Парижа, на тихой и малолюдной окраине пригородного поселка, названия которого ученый так и не спросил. Ничто представлявшее интерес для криминалиста не занимало его: ни местоположение строения, ни подъезды к нему, ни разбитое почтальоном, а ныне закрытое фанерой стекло соседнего с входом окна, ни система замка, ни способ, которым его открыл за полминуты Фонтен. Спящее любопытство Эрнеста проснулось, как только они вошли в дом, вернее, в комнату, где нашли тело ученого, о чем свидетельствовало почерневшее, не отмытое и не затертое кровавое пятно.

 — След крови ведет к креслу или, вернее, от кресла, — заметил Фонтен. — Лефевр вскочил, уже умирая, и, не успев сделать даже шага, упал.

 Браун обошел вокруг кресла — обыкновенного кресла модерн, с поролоновым сиденьем и такой же спинкой. Ему бы стоять у пульта с приборами или у телевизора, а его словно в раздражении отшвырнули на середину комнаты. Эрнест сел — ничего не произошло, просто удобное кресло без всяких чудес. И никаких проводов и датчиков. Только побуревшее пятно расплылось у ножки, подтверждая предположение инспектора. И тут чуть-чуть с краю пятна ученый подметил нечто вроде бугорка или кнопки, тронул ее ногой — она пружинисто подалась, и стертая подошвой кровь сразу же обнаружила естественный цвет кнопки — синий, резко выделявшийся на сером полу. Фонтен с интересом наблюдал за его действиями.

 — Нажмите сильнее, — посоветовал он.

 — Не торопитесь, — сказал Браун, — вспомните джинна в бутылке. Кресло здесь совсем не случайно. Оно как раз против черного ящика.

 — Вы дальтоник? — удивился инспектор. — Он же не черный, а серый. Нержавеющая сталь. — Он провел пальцами по стенке гладкого металлического параллелепипеда с глазками-индикаторами. Они тускло поблескивали матово-молочным отливом. Света в них не было.

 — Черным ящиком мы называем устройство, назначение и механизм которого нам неизвестны, — сухо сказал ученый. — Поэтому не рекомендую ничего трогать.

 Он медленно, внимательно ко всему приглядываясь и ни к чему не прикасаясь, обошел большую светлую комнату, в которой, кроме кресла, никакой мебели не было. То, что маскировалось столом, оказалось пультом управления сравнительно небольшой электронно-вычислительной машины. Опытный взгляд кибернетика сразу обнаружил обманчивость этой кажущейся миниатюрности: машина, по-видимому, работала на лампах с холодными катодами. Многое в ее устройстве он видел впервые и не понимал назначения. Он не обнаружил ни накопителей информации, ни устройства вводов и выводов. Не мог он оценить ни ее мощности, ни оперативной памяти, ни скорости операций в секунду. Да и каких операций? С какими качествами и каким набором программ?

 То, что инспектор назвал радиопередатчиком, также оказалось незнакомым устройством. Соединенное с ЭВМ многоцветной проводкой, оно могло быть и усилителем, и преобразователем волн, если бы удалось установить волновую природу его техники. Ученый не мог представить себе даже приближенной его характеристики.

 Еще один черный ящик! Для чего?

 Фонтен хмурился: его отнюдь не вдохновляла повышающаяся с каждым шагом задумчивость его спутника.

 — Чистая математика, — вздохнул он.

 — Чистая? — откликнулся кибернетик, не отводя глаз от приборов. — То, что вы считаете математикой, давно уже в мусорной корзине науки. Это математика нового века. Я одной ногой в старом и потому боюсь назвать вам то, что вижу. Должно быть, Лефевр знал больше меня. Только в чем, в какой области? Я знаю десятки счетно-решающих устройств и становлюсь в тупик перед этим. Возможно, это эвристическое устройство, соединяющее сотрудничество человека с быстрым действием машины. Человек как бы помогает ей, используя свой опыт и интуицию, участвует в отбраковке неконкурентоспособных вариантов. Обратите внимание на панель сигнализации. Видите указатели? «Выбор цвета», «Выбор формы», «Отбраковка вариантов», «Минимизатор», «Оптимум». Ни в одном счетно-решающем устройстве я не видал ничего подобного.

 — Цвета? — повторил Фонтен. — Формы? Он же не художник. Хотя… — Взгляд Фонтена пытливо обежал стены.

 — Вы ищете полотен? — усмехнулся ученый. — Увы, их нет.

 — Я ищу какую-то связь с полосками на кинопленке. Указатели, по-видимому, относятся к ним.

 — Возможно, — подумал вслух Браун и тут же забыл об инспекторе. — Надо еще узнать, как и зачем продуцируются эти полоски, — сказал он себе.

 Внимание его привлекла еще одна панель с пластмассовыми кнопками, отличавшимися только по цвету. Впрочем, крайние — белая и красная — были крупнее других. Эрнест засмеялся.

 — Что вы увидели?

 — Политическое лицо Лефевра. Вероятно, он все-таки не француз.

 Инспектор заглянул через плечо ученого. В обе кнопки была врезана черная хромированная свастика.

 — Н-да… — понимающе протянул он и вдруг нажал белую кнопку.

 Серый металлический шкаф ожил. Глазки индикаторов вспыхнули. Изнутри послышалось нарастающее гудение.

 — С ума сошли! — вскрикнул Браун и прыгнул к креслу. У ножки его он нащупал синюю кнопку и всей тяжестью тела навалился на нее, придавив подошвой. Шкаф тотчас же умолк, глазки погасли.

 — Метод проб и ошибок здесь не годится, — сухо обратился он к инспектору. — Меня отнюдь не прельщает участь Мишо. Прежде чем взять яд у кобры, надо схватить ее за голову.

 — Как вы догадались, что это выключатель? — спросил Фонтен.

 — Вероятно, резервный. Я еще об этом подумал, когда увидел его, сидя в кресле. Лефевр тоже нажал его, но, по-видимому, уже слишком поздно.

 Что хотел сказать этим Браун, инспектор так и не понял, но спросить не рискнул, а молча последовал за ним в следующую комнату, на пороге которой нашли труп Лефевра, — его архив или кабинет, а может быть, и то, и другое.

 Как человек Лефевр был уже ясен Брауну, он интересовал его только как ученый. Мысль ученого, ее направление, ее взлеты — об этом запутанно и неохотно, но все же рассказывали приборы. Но в кабинете никаких приборов не было, кроме телефона, уже отключенного от сети, что вызвало полное недоумение инспектора.

 — Кто распорядился? — негодовал он. — Все делается без моего ведома! Телефонов не выключают, если взносы уплачены.

 Но кибернетика интересовало другое. Он перебирал желтую кожаную папку с вложенными в нее листками. На титульном листе было написано:

«ПРАЗДНЫЕ МЫСЛИ. Свои и заимствованные».

 Он был не чужд юмору, этот поклонник свастики, только юмор его был злой и удушливый. Вероятно, поэтому он и написал:

 «Наслаждаться жизнью можно, только схватив ее за горло».

 «Наука — служанка, а не богиня. Ей приказывают, а не приносят жертвы».

 «До тридцати лет мы копим знания, с тридцати до пятидесяти их растрачиваем, а после шестидесяти забываем даже то, что осталось».

 «Между предположением и открытием — пропасть. Она часто заполняется не тобой открытым и не тобой придуманным. Но у меня нет времени на изобретение изобретенного».

 «Бабочки порой отыскивают друг друга за несколько километров. По запаху? Значит, и тут волны определенной частоты и длины. Передача — прием. Звук мы слышим, запах чуем, а гнев? А страх?»

 Браун перебрал несколько листков и снова задержался на записанном:

 «Перестал понимать — значит, набрел на что-то стоящее».

 «Почему музыка биттлсов вызывает порой те же ощущения, что и картины Поллока?»

 «Кажется, Ван-Гог сказал, что цвет, светотень, перспектива, тон и рисунок — короче, все имеет свои определенные законы, которые можно и должно изучать, как химию или алгебру. Я думаю, что главный из этих законов — воздействие на психику человека. На определенные скопления нейронов. Вопросы: какое воздействие? Какова алгебра цвета и тона, химические реакции рисунка и светотени? Можно ли найти на бумаге или на полотне эквиваленты этих алгебраических формул? Можно ли добиться управления этими химическими реакциями, а следовательно, и воздействием их на нервные центры мозга, можно ли усилить, ослабить или стабилизовать это воздействие?»

 Фонтен в это время перебирал книги на полке.

 — Может быть, он был музыкант? — сказал он.

 — Почему вы так думаете? — рассеянно спросил ученый.

 — А взгляните на его книги.

 Браун скользнул взглядом по корешкам. Книг было немного — не больше десятка, они, развалившись, стояли на крохотной полке, наглядно свидетельствуя о том, что их хозяин не был библиофилом. Но корешки с названиями вызывали недоумение: «Цвет и музыка», «Спектральные сочетания Ришара», «Звук, цвет и нейроны». «Материалы акустической лаборатории Чикагского университета», «Булье. Мелодии цвета в орнаменте древнем и современном».

 — И ни одного музыкального инструмента в доме. Даже губной гармошки нет, — заметил инспектор.

 — Это не та музыка, о которой вы думаете.

 Браун говорил загадками, но, должно быть, кое в чем все-таки разобрался. Фонтен это чуял чисто профессиональным чутьем. Эрнест действовал не беспорядочно, не разбросанно, а сосредоточенно и систематически. «Есть версия», — подумал инспектор. Но мешать Брауну не стал: по собственному опыту знал, как нервируют вопросы, когда версия только нащупывается.

 А ученый в это время совершал круг по комнате мимо створок, закрывавших ящики архива, спрятанные в стене. Они располагались в линию на уровне человеческого роста, причем их было совсем немного, как и книг. Буквы греческого алфавита помечали каждую створку, но шли не по порядку, а произвольно, на выбор, подсказанный какой-то системой мышления и хранения. За альфой следовала каппа, за каппой — кси, далее дельта и омикрон, а завершали этот странный парад омега и бета. Браун не знал древнегреческого, но, как и Фонтен, подумал, что этими буквами начинаются слова, обозначающие по-гречески понятия, объединявшие собранные в ящиках материалы. Он выдвинул один ящик, другой, оба были набиты папками в таких же кожаных переплетах, как и бювар на столе. Эрнест наугад раскрыл одну папку и на титульном листе прочел: «Радость признательности. Первые опыты». Второй листок начинался с аннотации: «Март 1960 года. У Бертье. Ассистировала Милена Кошич. На испытании — Франсуаза Жюстен. Возраст — сорок четыре года. Профессия — консьержка в доме № 12 по улице Домбаль. Семейное положение — вдова. Гонорар за участие в опыте — сорок франков».

 «Процесс, — читал дальше Эрнест. — Села в кресло, еще раз предупредив, что гонорар должен быть выплачен немедленно по окончании опыта. Спросила, будет ли больно. Мы успокоили ее, объяснив, что опыт совершенно безболезнен и безопасен, продлится несколько минут и гонорар будет выплачен тотчас же. Затем мы надели ей на руки браслеты с датчиками, а на голову — венец с присосками, естественно умолчав о том, что все это — и венец, и браслеты, и датчики — сплошной камуфляж для создания соответствующего настроения. Затем я вызывающе сказал Милене: «Включаю!» Милена за ширмой ответила: «Есть!» Тотчас же между нами состоялся следующий (заранее сочиненный) разговор:

 Я. Следите за экраном.

 МИЛЕНА. Полосы и пятна.

 Я. Цвет?

 МИЛЕНА. Голубые сочетания спектра.

 Я. Форма?

 МИЛЕНА. Не резко выражена. Полусфера.

 Я. Заканчиваем.

 После этого мы сняли с испуганной Франсуазы венец и браслеты и объявили, что гонорар ей повышается вдвое. Коммуникация — слово. Эффект: радость (рост в десятых секунды без фиксации). Франсуаза расплылась в улыбке, ахала и благодарила. Я прервал эти излияния, включив гипнотрон. Она тут же заснула. Милене сказал: «Вторая катушка, пленка три В, запись пятая». Включил «Вегу». Аппарат работал шесть минут — половина катушки. Без усилителя. Эффект тот же. Радость признательности. Плакала и благодарила, уже не зная за что. О гонораре не заикалась. Шифр прежний».

 Далее шли колонки цифр, сгруппированные квадратами. Эрнест насчитал сорок восемь квадратов.

 — Что-нибудь понимаете? — спросил он у инспектора, одновременно с ним прочитавшего эту запись.

 — Лабиринт. К вашей ариадниной нити могу, между прочим, подвязать кусочек своей. Милена Кошич, ассистентка Бертье, умерла в тысяча девятьсот шестьдесят третьем году в своей лаборатории, именно там, где она ассистировала Лефевру. Диагноз: сердечная недостаточность. Кроме нее, в институте никого не было: работала она в воскресенье. Смерть естественная, следствие не проводилось.

 — Слишком много естественных смертей, — вздохнул Браун. — Что сделаем с шифром?

 — Дадим шифровальщику.

 — Не надо. — Эрнест снова заглянул в бювар на столе. Перелистав папку, он наконец нашел нужный листок и протянул инспектору.

 «Радость не убивает, — прочел тот, — убивает страх».

 Под этой строкой мелким бисерным почерком, какой бывает только у хладнокровных, расчетливых, целеустремленных людей, было записано:

 «Папка пуста. Материалы спрятаны. Ключа нет. Чтобы найти их, придется перелистать семнадцать тысяч страниц. Успеете ли, если я нажму кнопку?»

 На обороте листка на немецком языке было полностью приведено перепечатанное на пишущей машинке стихотворение Гёте «Лесной царь», знакомое Брауну еще с детства.

 — «Ездок погоняет, ездок доскакал… в руках его мертвый ребенок лежал», — повторил он последние строчки.

 — Что, что? — не понял Фонтен.

 Эрнест повторил.

 — Ну, знаете, — рассердился Фонтен, — я сдаюсь. Не вижу ни искорки, тьма египетская. А у вас — версия. Это вижу. И не тороплю. Сколько дней вам понадобится для решения?

 — Вечер и ночь. Здесь, в лаборатории.

 — Прислать бригаду агентов?

 — Зачем?

 — Перелистывать семнадцать тысяч страниц.

 Браун не удержался от соблазна похлопать недоумевающего инспектора по плечу.

 — Я не криминалист, инспектор, и методы у меня другие. Обеспечьте мне спокойное пребывание в этой лаборатории, так чтобы этого никто не видел и никто, кроме вас, не знал. Включите телефон, чтобы я мог позвонить вам ночью… Что еще? Ничего, кроме двух бутылок пива и куска пирога, который печет вам ваша жена или теща.

 — Один вопрос. Что будете искать? Ключ к шифру?

 — Нет, товар, интересующий фирму «Прощай, оружие!».

 — Кому выгодно? — спросил инспектор.

 — Кому выгодно, — сказал Браун.

 3

 К вечеру он соснул часок, принял душ и прошелся по тихой в эти часы набережной Сены, чтобы, как говорил в его студенческие годы старик профессор, согреть сердце и остудить голову. Наука не раскрывает своих тайн ни разгоряченному мозгу, ни холодному сердцу. И ученый настойчиво гнал любую мысль, тянувшуюся по ассоциации к происшедшему утром. Вот он загляделся на зеленые воды Сены, расходившиеся мутными волнами от пробежавшего катера. Опять волны! Никаких волн, вода в Сене не движется, как в рассказе у Мопассана. Только пахнет сыростью, а не гвоздикой, как у цветочных ларьков. Париж пылает гвоздикой всех тонов, от бледно-розового до ярко-пунцового. Может быть, тоже мелодия спектра? К дьяволу спектр! Хорошо, что в математике нет никакого спектра. Дважды два — четыре, дважды четыре — восемь. Два действия без цвета и запаха. А сколько бы действий потребовалось на это счетно-решающему устройству? Долой устройства! Да здравствуют простые конторские счеты! Но надо уходить и от счетов, иначе придешь к таким же кнопкам на пульте. Забыть о них, полюбоваться на кокетливую челку пробежавшей мимо девушки. А может быть, она похожа на Милену Кошич?

 Так безнадежно пытался оторваться Браун от происшедшего утром и предстоящего вечером, и, лишь когда он увидал поджидавшую его у дверей отеля машину инспектора, сразу пришли к нему спокойствие и уверенность. И радостная отрешенность от всего, что сейчас мучило и подстегивало мысль. Ей нужен был отдых перед стартом, и в каких-то мозговых клеточках прозвучала команда: расслабиться. Усаживаясь рядом с нахмурившимся Фонтеном, Эрнест даже не отказал себе в удовольствии пошутить:

 — Волнуемся, инспектор?

 — А вы?

 — А мы мечтаем о пиве, которое у вас в свертке за спиной. Кстати, какое?

 — Датское. А телефон, между прочим, уже включен.

 — Звонка не ждите. Позвоню к утру, когда все выяснится.

 — А вы уверены, что выяснится?

 — Иначе я бы не сидел сейчас рядом с вами. — Вопросы неуместны?

 — Вы сами понимаете, инспектор. Рыбака, не развернувшего удочки, о клеве не спрашивают.

 Так, перебрасываясь словами, как шариком на столе для пинг-понга, они доехали до виллы «Шансон», еще более одинокой и мрачной вечером, на фоне пустынной поселковой окраины. Только редкая платановая рощица шумела на ветру да хрустел под ногами гравий на дорожке к дому. Никто не попался им навстречу, и вторжение в лабораторию произошло так же незаметно, как и утром. Инспектор зашторил окна, водрузил на стол распакованные пирог и пиво, оглянулся завистливо и спросил со вздохом:

 — Может быть, все-таки разрешите остаться?

 — Нет, — сказал Браун.

 Оставшись один, он начал с повторения пройденного — с кресла с ножным выключателем искомого действия, «черного ящика» с передатчиком или усилителем того же действия, счетно-решающего устройства незнакомой конструкции и панелей с сигнальными кнопками. Принцип производимого осмотра сводился к тому, что заметит вторично уже искушенный глаз. Искушенный глаз ничего не заметил, кроме двух не слишком приметных деталей, о важности которых пока еще трудно было судить. Во-первых, красная кнопка со свастикой была не только больше всех остальных, но отстояла от них дальше, словно ей предназначалась какая-то особая роль, возможно и не связанная с устройством «черного ящика» и вычислительной машины. Во-вторых, текстовые кнопки этой машины отличались друг от друга не только характером сигналов, но и частотой пользования. Кнопки с сигналами «Выбор цвета», «Выбор формы», «Отбраковка вариантов» выглядели новее других, сверкая нетронутой чистотой и яркостью, в то время как их соседки потускнели и стерлись. Здесь можно было предположить два решения: или машина уже не нуждалась в этих сигналах, пройдя какой-то процесс самоусовершенствования и самопрограммирования, или же это был новый конструкторский ее вариант, в котором старая сигнализационная панель играла только резервную роль на всякий непредвиденный случай. И то и другое решения говорили о больших мощностях машины, о полном и хорошо разработанном ее математическом обеспечении и, вероятно, о сложности решаемых ею информационных задач.

 Каких задач?

 Браун догадывался, вернее, предполагал одну: цвет и музыка. Собственно, даже не музыка как эстетическая категория, а поверенная алгеброй гармония или дисгармония цветовых и линейных сочетаний и форм. Судя по записям, Лефевру удалось доказать воздействие таких сочетаний на психику человека и тем самым добиться нужных эмоциональных реакций. От оптимальных решений задачи зависела и мощность таких реакций. Но для чего? Не на потребу же абстрактной живописи и не из тщеславного желания подарить миру кибернетического Кандинского или Шагала. Чем больше думал об этом Эрнест, тем все настойчивее возникала у него мысль о том, что это побочное открытие, побочное от главного, от «безумной» идеи о волновой природе человеческих чувств. Скажем, радость и горе, гнев или страх являются источниками импульсов, нечто вроде ультразвуковых волн, находящихся за пределами восприимчивости нормально чувствующего человека. Однако находятся люди с повышенной восприимчивостью нервных рецепторов, способные «принять» и сопережить чужое чувство. Так родилось еще одно условие задачи. Если возможна такая «безкоммуникационная» передача в природе, то ее можно усилить механически, создав достаточно мощные источники возбуждения. Как нашел эти источники Лефевр, неизвестно: может быть, мгновенное озарение, может быть, финал многократных проб и ошибок. Но формула «цвет — музыка» получила свое оптимальное решение.

 Эта концепция кибернетика родилась не сразу: он добрый час шарил по ящикам архива, опять и опять возвращался к записям опытов, а потом снова читал и перечитывал «праздные мысли» Лефевра. То было что-то вроде записных книжек ученого, его своеобразное хобби. Зацепит где-нибудь прочитанная мысль — он ее запишет и прокомментирует, услышит или подметит что-нибудь любопытное — тоже запишет и порассуждает «по поводу», и так подряд вперемежку: мысли и «мыслишки», наблюдения и «наблюденьица», пустячки и эмбрионы оригинальных идей. Все проследил Браун и все процедил сквозь сито предполагаемых условий научной задачи и нашел все-таки ниточку от эмбриона к идее. Теперь предстояло решить задачу, от которой отказался Фонтен: отчего умерли Лефевр и Мишо?

 Ученый вновь извлек из бювара листок с «Лесным царем» Гёте, присоединил к нему колонки цифр из записи опыта, прочитанной еще утром вместе с Фонтеном, положил все это перед собой и задумался.

 Листок со стихами содержал три записи, сделанные в разные годы. Первая, мягко говоря, не очень глубокомысленная сентенция о том, что убивает не радость, а страх, относилась к очень давнему времени: чернила выцвели и стерлись от частого перелистывания папки. Угадывалась даже приблизительная дата — до 1963 года, когда умерла Милена Кошич: ведь опыт под титром «Радость признательности» производился Лефевром совместно с Миленой. Тогда же или немного ранее были перепечатаны на листке из бювара знаменитые стихи Гёте. Зачем? Представить Лефевра в роли любителя поэтической классики было смешно: ничто в его характере не указывало на это. Скорее всего, знакомые с детства стихи были взяты потому, что именно в это время для записи цветограммы Лефевру понадобился шифр. Браун поморщился: придуманный им термин «цветограмма» был неточен и не выражал всей сущности открытия, но искать другой было попросту некогда. Гораздо важнее было установить, что ключом к шифру был именно «Лесной царь». Ученому пришла в голову эта мысль еще тогда, когда он прочел последние строки: «Ездок погоняет, ездок доскакал… в руках его мертвый ребенок лежал». «Отчего же умер ребенок?» — прочел он молчаливый вопрос в глазах инспектора и так же молча ответил: «От страха». Но вслух оба ничего не сказали.

 О шифре подумалось и во время прогулки по набережной. Вспомнился способ шифровки текстов в школьные годы, в играх в разведчиков, когда в качестве шифровального кода использовались произведения различных писателей и поэтов. Но во время прогулки Эрнест отогнал эту мысль: она мешала расслабиться перед стартом. А сейчас, разглядывая колонки цифр в квадратах, он ясно читал: верхняя — порядковый номер строчки в стихотворении, нижняя — порядковый номер буквы в строке. Для усложнения число строчек и букв удваивалось и даже утраивалось. Таким образом, третья строчка могла шифроваться девятой, а девятая — двадцать седьмой. Можно было их подменять, запутывая отгадчика, где угодно и как угодно. Но при наличии ключа все было проще простого: находи буквы и заменяй ими цифры. Оперируя «Лесным царем», Браун мгновенно расшифровал первый квадрат: «Синусоида. Чистый ультрамарин, переходящий в индиго, линии перекрещиваются в третьем периоде, распыление…» Дальше он разбирать не стал: все было ясно.

 Несложность шифра объяснялась просто. Лефевр создавал его не в расчете на профессионалов-шифровальщиков, а из желания защитить свое открытие от конкурентов. С любой иностранной разведкой он мог договориться на общепонятном языке бизнеса, но как уберечься от случайного глаза любопытного и неразборчивого в средствах коллеги? Так и попали на листок стихи Гёте: кому придет в голову посчитать их за шифровальный код? А последняя приписка — насмешливый совет просмотреть семнадцать тысяч страниц, чтобы добраться до сути открытия, — была сделана явно в последние дни. Лефевр по-прежнему опасался любопытных, но не слишком умных или хитрых для того, чтобы за короткое время визита в лабораторию во время его отсутствия переиграть ученого. Кто из таких любопытных знает хорошо древнегреческий, чтобы понять систему хранения его документов? Не знал и Эрнест, все же ему повезло: нужное слово он знал.

 Он вспомнил об этом, еще раз прочитав название стихов: «Лесной царь». Лес, лесной — ни к чему. А царь? По-гречески — базилевс. Значит — бета. Чуть-чуть дрожащими руками — дрогнули все-таки! — Браун выдвинул нужный ящик. «Базилеуо — царствую» — было написано на титуле в первой же папке. Как игрушка матрешка, она заключала в себе еще несколько папок, озаглавленных: «Власть», «Сила», «Величие», Он вспомнил нацистский лозунг «Сила через радость», потом — только что маячившую перед глазами сентенцию о «неубывающей радости» и «убивающем страхе» и замер: догадка, как молния, сверкнула в ночи.

 Неужели он добрался до сути?

 Долго-долго держал он в руках искомую папку. Она ли? Если она, значит, логические рассуждения его верны, значит, это его, Брауна, победа. Маленькая победа над большим открытием. Он внутренне усмехнулся: разве победа? Просто первая удача, тактический успех в подготовке сложной стратегической операции. Противник еще не расшифрован, не разоблачен. Его лишь заставили выйти из укрытия. Сейчас он подымет забрало.

 Очень спокойно, нарочито медленно ученый раскрыл папку. В ней было несколько листков, сколотых скрепкой и тоже написанных в разное время. На первом оказалась следующая запись, по-видимому совсем недавнего происхождения (темно-синие чернила еще не успели выцвести) и служащая как бы преамбулой к последующим листкам:

 «Обе части письма к Милене Кошич, так ею и не прочитанного, я прилагаю к «тайному тайных» моего открытия. В каждом открытии есть свое «тайное тайных», в моем — это кодированный источник возбуждения. Письмо, таким образом, становится вступительным комментарием к результатам опыта, если их удастся записать.

 Для того, кто прочтет его после моей смерти (при жизни, надеюсь, этого не случится), поясню: первая часть письма написана в субботу, накануне трагической смерти Милены. Я не дописал его — что-то помешало, а опыт, который я должен был поставить на себе, намечался на понедельник. Милена предупредила меня, проникнув в лабораторию в воскресенье, когда в институте никого не было, кроме дежурных вахтеров. Никто так и не понял причин ее гибели, даже Бертье: его не интересовали мои приборы.

 Закончил письмо я уже из упрямства — зачем искать другую форму комментария? — совсем недавно, когда снова решил испытать на себе действие «Веги». То была уже другая «Вега», или, вернее, ее окончательный вариант. Повысилась не только мощность индукторов, но и способность повиноваться: выключая возбудитель, я не только приостанавливал опыт, но и полностью стирал «импульсы», уже воспринятые нервными рецепторами».

 Браун тут же мысленно отметил, что стереть их не удалось. Или Лефевр упустил момент, позволил смерти обогнать волю к жизни, или аппарат был выключен не полностью и опыт не приостановлен, или же, наконец, «Вега» попросту не сработала. Последнее Браун, подумав, отверг: «Вега» была слишком совершенным созданием, чтобы так грубо ошибиться в самой ответственной стадии опыта.

 Второй листок начинался с объяснения: Лефевр, как бы продолжая когда-то начатый разговор с Миленой, писал:

 «Я должен закончить наш спор, Милена, и сказать правду теперь — позже она будет для тебя убийственной. Каюсь, меня устраивали наши отношения: и твой отказ от нашего брака, который якобы мог помешать твоему служению науке, и даже то, что полоумный Бертье был тебе дороже меня, потому что олицетворял для тебя более высокую стадию науки, чем я. И я не требовал от тебя большего, ибо оно в конце концов раздавило бы даже ту крошечку счастья, которое скрашивало для меня мои тюремные дни у Бертье. Но произошло непредвиденное: я открыл тебе «Вегу», и мираж увлек тебя, мираж иллюзорных благ, которые она якобы могла принести людям: исцеление от горестей, тихую радость, наслаждение, покой. Я не рискнул огорчить тебя: ты даже готова была уйти от Бертье и работать только со мной в любых (я помню, как ты подчеркнула — в любых) условиях. Но искусственная радость не нужна человечеству, и мое открытие (даже без меня) все равно бы использовали в тех же целях, для которых я его создавал. Начинаю с признания: я не француз, Милена, я немец по отцу и фамилию моей матери взял только после войны, когда мои опыты с Мидлером в одном из наших лагерей в Польше отняли бы у меня свободу, а может быть, и жизнь, во всяком случае — будущее. Политически сейчас я то, что зовут реваншистом, а морально — враг всего, что связано с благом так называемого человечества. Помнишь наш спор об этом благе и мои возражения? Я не удержался и прямо сказал, что с моей точки зрения никакого человечества нет, а есть свора хищников, в которой сильный всегда сожрет слабого. Ты огорчилась и расстроилась до такой степени, что я пожалел о сказанном и сослался на шутливое желание тебя подразнить. Ты мне поверила, но я уже не рискнул на дальнейшее испытание этой наивной веры и не сказал тебе, что «Вега» как раз и рассчитана на то, чтобы сократить твое паршивое человечество наполовину.

 Почему я до конца раскрываю себя? Да просто потому, что не знаю, чем кончится опыт. У меня нет людей-кроликов, каких у нас с Мидлером были тысячи в лагере, а отвечать по французским законам за смерть испытуемого я не хочу. Потянется ниточка в прошлое, и конец всему. Значит, один выход: сесть самому перед индуктором и встретить удар. Я не слишком отягощен тем, что вы называете совестью, но и не трус, — ты знаешь. Знаешь и способ. Ввести кодированные программы, нажать белую кнопку и встретить волну. Гипноза не нужно. Я сам буду проходить и контролировать испытание…»

 На этом кончались листки, написанные почти десятилетие назад. Они были интересны для криминалиста, для писателя, но не для ученого. Технически ничего нового Брауну они не открыли. И действие «Веги», и ее назначение он уже уяснил раньше — просто любопытно было заглянуть в душу такой черноты, какую он знал только по описаниям. Теперь руки его уже не дрожали, брезгливо переворачивая исписанные страницы, он искал технических подробностей.

 И вот что нашел:

 «Только я один знаю, отчего ты умерла, Милена, поторопившись встретить направленную волну. Ты даже не знала о выключателе, а подавленная воля не позволила встать и уйти. Как смешили меня диагнозы невежественных эскулапов: «сердечная недостаточность», «быстротекущая, злокачественная форма гипертонии»! Они не догадывались о том, что умерла ты от пытки страхом, что индукторы «Веги» резко усилили ток нагнетаемой крови в сосудах, одновременно повысив в ней содержание ангиостезина. Кто знал, что страх может способствовать этому повышению? Выделившие ангиостезин — таинственное «нечто», сужающее сосуды, — из крови человека японские биохимики даже не подозревали о способах его повышения в крови. Открыл это я — побочно, как и кодированные источники возбуждения. Только ты этого не знала, Милена.

 Но узнал Глейвиц. Бывший школьный товарищ, бывший соратник по «Гитлерюгенду», ныне гражданин США. Удачная женитьба всосала его в семью американских мультимиллионеров, простивших ему и свастику, и связанные с нею грехи. «Ты что-нибудь изобрел или открыл? — спросил он меня при первой же встрече. — Ты же ученый. Если открытие стоящее, могу субсидировать». Я прикинул в уме, стоит ли игра свеч, и рассказал. Он моментально заинтересовался. «Одна машина — понятно. А тысяча? А десять тысяч?» — «Парализуют любое наступление, насыщенное любым оружием, от танков до авиации, — пояснил я, — остановят на глубоко эшелонированном фронте любой протяженности, буквально за несколько минут выведут из строя всю живую силу противника». Он продолжал спрашивать: «А бомбовые удары с дальних баз? А ракеты? А ядерное оружие?» — «Некому будет отдать приказ. Десяток портативных индукторов, замаскированных на обычных туристских автомашинах задолго до начала военных действий, уничтожат любой генеральный штаб и любое правительство». — «Значит, прощай, оружие! — засмеялся он. — Что ж, отличное название для фирмы». Так я стал владельцем виллы «Шансон» в предместье Парижа и лаборатории, которая даже не снилась таким, как Бертье.

 Сейчас «Вега» усовершенствована. Я увеличил ее мощность, силу волнового удара и дальность поражения. Старушка ЭВМ уже способна к самопрограммированию и отбраковке вариантов. (Браун вспомнил при этом чистенькие кнопки на пульте вычислительной машины.) Ей достаточно первой и последней цветолинейной фиксации — все промежуточные она создаст сама. Пленка рассчитана на шесть минут, значит, надо остановить ее на пятой — я не самоубийца. Шестую прибережем для фирмы «Прощай, оружие!».

 Два последних листка, предназначенных для записи результатов опыта, заполнены не были: пятая минута подвела Лефевра. «Придется внести поправку, — сказал себе Браун, — срезать и пятую, сократив пленку до четырех минут. Мы тоже не самоубийцы». Он отложил папку — она была уже не нужна. Предстоял второй тактический этап операции — план опыта и самый опыт.

 С чего начать?

 4

 Он разложил на столе взятую у Фонтена пачку цветных фотографий — абстрактную путаницу линий и клякс. Все они были перенумерованы от первой до двенадцатой. Но большой разницы между ними Браун не заметил, пожалуй, только усиливалась интенсивность цвета, полосы к концу чаще сливались, взрывались вуалями цветной пыли или расплывались бесформенными кляксами. Код страха — код смерти. Именно тот самый яд, которым убивала кобра из «черного ящика». Однако нумерация ровно ничего не объясняла.

 Тогда Браун позвонил инспектору. Трубка отозвалась почти мгновенно.

 — Не спите? — спросил ученый.

 — Не сплю. Как дела?

 — Почти закончены.

 — Разгадали?

 — Все. Осталась последняя проверка.

 — Подождите. Еду.

 — Один вопрос. Порядковая нумерация фотоснимков соответствует их раскадровке на кинопленке?

 — Конечно. Пленка рассчитана на шесть минут. Снимки производились по видеоскопу с интервалами в тридцать секунд.

 — Значит, первая…

 —…начинает ленту. А двенадцатая — последняя, которую видел Мишо.

 — Тогда приглашаю на встречу с коброй. Кстати, поужинаем. Я еще не пробовал датского пива.

 Трубка откликнулась коротким смешком. Что-то рассмешило инспектора.

 — А вы знаете, который час?

 — Нет, а что?

 — Три часа ночи.

 — Тем лучше, — убежденно сказал Браун, — значит, успеем управиться еще до рассвета. По-моему, это нас устраивает. Поглядим на кобру — и домой?

 — А яд?

 — А яд выплюнем.

 Трубка снова откликнулась смешком: инспектор оценил настроение ученого. Теперь у последнего оставалось по крайней мере полчаса свободного времени до приезда Фонтена.

 Браун перешел в аппаратную. Он еще раз придирчиво осмотрел счетно-решающее устройство, нашел наконец вводной механизм и усомнился: а вдруг он рассчитан на пленку, а не на цветные картинки. Но Лефевр говорил о фиксации, значит, можно подразумевать и цветное фото. Но можно ли ввести его в машину?

 Оказалось, что можно.

 Убедившись в этом, Эрнест снова, как и в первое свое посещение лаборатории, заинтересовался красной кнопкой на пульте, кнопкой-великаном с хромированной свастикой. У нее было еще одно отличие от соседок: плотно примыкающее к ребру кольцо. Ученый чуть-чуть тронул его: вращается мягко и плавно. Зачем? Вращение кольца не было связано с нажимом кнопки — такая связь казалась лишенной всякого смысла. Вероятно другое: два сигнала — два механизма — два различных эффекта. Эрнест слегка повернул кольцом — ничего не случилось. А если рискнуть?

 Он довернул кольцо до полного оборота. Послышалось тихое жужжание невидимых шарниров, и одна из стенных панелей сдвинулась внутрь, открыв неширокий проход. Тусклая лампочка осветила пустой тамбур, похожий на клетку лифта. Ученый осмотрел, не входя, его стенки и увидел впереди другую дверь, с пластмассовой табличкой, о чем-то оповещающей. О чем? Слабый свет не давал возможности прочесть, и Браун рискнул: тронул тамбур ногой — крепко. Шагнул, не спуская глаз с панели, наполовину ушедшей в стену, — не сдвинулась. Осторожно сделал еще шаг к двери и прочел на табличке: «Пять минут». Сакраментальная цифра! На пять минут была рассчитана пленка с цветограммой, на пять минут до смерти. Но пятая минута подвела. А на какие пять минут рассчитан этот проход? Куда? Если раскрыть дверь, это займет не более секунды: значит, пять минут предполагают что-то другое. У Эрнеста мелькнула догадка, в которой он даже сам себе побоялся признаться, но догадка не предполагала пока ничего страшного. Мгновения, которые уйдут на то, чтобы открыть и закрыть дверь, видимо, безопасны. И он легонько нажал ручку двери — откроется ли?

 Дверь сразу открылась. В синем предрассветном тумане можно было различить клумбы с крупными шапками темных, должно быть красных, цветов, подстриженные кусты и асфальтовую дорожку к калитке, ведущей в парк с противоположной стороны дома. Вероятно, даже не в парк, а в ту платановую рощицу, которую они видели, подъезжая к вилле со стороны шоссе. Сейчас, в темноте, шоссе видно не было, и никаких строений поблизости — только темные стволы деревьев с неправдоподобными в дымке кронами. «Идеальный выход, — подумал Браун, — никто не увидит. Только почему пять минут?» Надпись о чем-то предупреждала. Может быть, о том, что следовало сделать, повернув кольцо и нажав кнопку.

 Не найдя ответа, он закрыл дверь и вернулся в комнату. Стенная панель по-прежнему оставалась открытой, но ученый не стал искать механизма, возвращающего ее на место. Зачем? Может быть, им с Фонтеном потребуется именно этот ход. И Эрнест не без удовольствия подумал о том, как вытянется лицо у инспектора, когда он увидит еще одну, не обнаруженную им раньше загадку.

 Инспектор действительно удивился, потому что первым же вопросом после появления его в лаборатории был именно этот:

 — Что такое?

 — Запасный выход.

 — Куда?

 — На улицу рядом.

 — Зачем?

 Эрнест развел руками: поди сообрази.

 — Чтобы сбежать? — фантазировал вслух инспектор. — От кого?

 Он открыл загадочную дверь в сад, посмотрел в темноту и вернулся, все еще недоумевая.

 — Кого он боялся? Что скрывал?

 — Потом, — прервал его Браун. — Сначала поужинаем. Вы прочтете кое-что весьма любопытное. Ну, а я ведь до сих пор не прикоснулся ни к пиву, ни к пирогу.

 Прочитав исповедь Лефевра, Фонтен долго молчал, потом сказал со вздохом:

 — Шеф прав. Дело придется закрыть.

 — Почему?

 — Потому что мы уже знаем, кому это выгодно, и этот «кто» настолько влиятелен, что ему не составит никакого труда пресечь вмешательство чиновника уголовной полиции.

 — Но маленький чиновник может пойти в большую газету.

 — Без проверки материалов? Без свидетелей?

 — А я?

 — Вы иностранец. Большая газета на вашу экспертизу не клюнет.

 — Разве в Париже нет экспертов?

 — Миллионы Глейвица их легко найдут. «Вега»? Механическая чепуха, вроде «вечного двигателя». Исповедь Лефевра? Бред полоумного. Сам Бертье подтвердит. В конце концов скандал замнут, вас высмеют, а меня уволят. Архив же и аппаратуру фирма «Прощай, оружие!» потихоньку вывезет в какой-нибудь Питтсбург.

 — Или в Дюссельдорф, — усмехнулся Эрнест.

 Инспектор опять вздохнул.

 — Мы тоже не сможем доказать, что есть такая фирма. Где она зарегистрирована? Где ее местопребывание? Где капиталы? Где текущий счет? На чье имя?

 — Одно мы докажем, — сказал Эрнест.

 — Что и кому?

 — Что? Чем убивает кобра. Кому? Себе. — Ученый встал. — Вы говорите, что снимки энграммов производились с видеоскопа через каждые тридцать секунд? Нам нужно выдержать всего четыре минуты. Значит, остановимся на первом и на восьмом.

 Он отобрал два цветных снимка полосок и пятен, еще раз сверил их номера на обороте и вложил оба в механизм вводов счетно-решающего устройства.

 — Будем ждать кобру, — сказал он. — Я даже не знаю, сколько времени понадобится, чтобы ей вылупиться.

 Оба замолчали. Фонтен принялся перечитывать записки Лефевра, а Браун задумался над перспективой его открытия. Только ли разрушительного, многократно спрашивал он себя. Разве его нельзя использовать в мирных целях? В медицине, например. Как некий универсальный транквиллизатор. Но Лефевр прав: у «Веги» найдутся свои Теллеры, которые постараются использовать ее в целях военных. И добьются — слишком велик соблазн и просто решение. Кстати, почему «Вега»? Скорее, Горгона, не страшная только Персею. Он придет, конечно. На «волны» ответит «антиволнами», придумает какие-нибудь гасители или рассеиватели. Только хватит ли у него времени, не пригнет ли его эра нового рабства, воссозданная с помощью фирмы «Прощай, оружие!»?

 — Почему Глейвиц до сих пор не присылает за ключами от виллы? — спросил он Фонтена.

 — Ключи уже взяли, — ответил тот.

 — Значит, нашли специалиста.

 — Надеюсь, что не во Франции.

 — Определенно. Носители свастики знают, где искать единомышленников.

 — Смотрите! — воскликнул инспектор.

 Верх «черного ящика» бесшумно осветился изнутри, вернее, стал прозрачным, как органическое стекло. Браун и Фонтен увидели, как на быстро вращающуюся катушку наматывалась широкая мутно-серая лента без всяких видимых знаков.

 — Кобра вползает в гнездо, — меланхолично заметил кибернетик, — ЭВМ выдает готовую продукцию «Веге».

 — А где же цветные полоски? — спросил Фонтен.

 — Мы не знаем, как она кодирует цвет.

 «Черный ящик» снова погас, окрасившись в цвет нержавеющей стали.

 — Начинаем опыт, — сказал Браун, — садитесь в кресло. — А вы уверены…

 — В чем? В том, что нас не свезут отсюда на кладбище? Не уверен. Но если боитесь, уходите.

 Вместо ответа Фонтен молча сел в кресло Лефевра. Браун нажал белую кнопку со свастикой — машина знакомо загудела, глазки ее зловеще вспыхнули.

 — Пока живы, будем обмениваться впечатлениями, — сказал ученый, подвигая стул из кабинета к сидевшему в кресле инспектору. — Слышите, кобра уже шипит.

 Гудение машины сменилось мягким, похожим на шипение звуком. Эрнест вдруг почувствовал, как у него немеют руки. «Плохо», — подумал он и усилием воли прогнал оцепенение.

 — Вы что-нибудь чувствуете? — спросил он инспектора.

 — Слабость, пожалуй.

 — Гоните ее, — потребовал Браун, — мобилизуйте волю и гоните. Помогает?

 — Помогает, — вздохнул инспектор.

 Оба замолчали. Несколько секунд Эрнест ничего не ощущал, кроме нарастающего беспричинного беспокойства. Потом ему показалось, что он видит сон. Удивительный сон наяву. Будто где-то в детстве он чем-то напуган. Невидимые руки втолкнули его в темную комнату и заперли дверь на задвижку. Впечатление было так сильно и так реально, что он даже услышал стук тяжелой щеколды. Такому неумному наказанию однажды подвергли его в детстве, и Эрнест долго потом не мог избавиться от удушливого страха перед тьмой. Но сейчас все происходило иначе. Его мозг как бы раскололся на две части — в одной подымался и сковывал тело страх, другая анализировала, размышляла, оценивала. «Интересно, скован ли язык?» — подумал он и, с трудом ворочая плохо повинующимся языком, спросил инспектора:

 — Что с вами, Фонтен?

 Инспектор ответил не сразу и так же трудно и хрипло:

 — Не знаю. Какая-то муть лезет в голову. Кажется, что меня привязали к креслу.

 — Нет! — почти закричал Эрнест, или ему показалось, что закричал: вернее, то был еле слышимый хрип человека, которому перехватило горло. — Держитесь, Фонтен! Вам это только кажется, и вы знаете, что кажется. Держитесь за это «знаете»! Не давайте ей погасить волю!

 Инспектор не ответил, и ученый не нашел в себе сил продолжать. Охваченная страхом вторая половина его «я», как диафрагма в съемочной камере, закрывала от размышляющей видимый мир, погружая его в древнюю архейскую темноту. Страх физически подавлял его, подавлял волю, как нечто живое, у которого отнимали жизнь. Он уже не видел ни белых стен, ни «черного ящика», ни сидевшего рядом инспектора. Все это суживалось до тоненькой полоски света, тусклого, как предрассветный туман. Она утончалась с каждым мгновением, и Браун уже знал, что, когда она погаснет совсем, поглощенная тьмой, он умрет. Сердце превратилось в пузырь, куда невидимые, но ощутимые насосы страха гнали кровь как брандспойты. Пузырь раздувался и грозил лопнуть, причем Браун знал, что он обязательно лопнет и ничем более не сдерживаемая кровь хлынет фонтаном из горла. «Сердечная недостаточность», — вдруг вспомнил он и мысленно усмехнулся, тут же поняв, что сознание еще живо, что он знает, где находится на полу синяя кнопка и стоит только подтянуть ногу, чтобы ее нажать и опередить все суживавшуюся черточку света. Ему даже показалось, что он шарит ногами, сейчас найдет эту спасительную кнопку, навалится на нее всем телом и страх, сжимающий горло, оборвет свою хватку. Он действительно пошарил ногой по полу и нащупал бугорок под носком ботинка. Найдутся ли только силы, чтобы нажать?

 Нашлись!

 Эрнест навалился на синюю кнопку, еще не потеряв разума, еще видя впереди тоненькую, как лезвие бритвы, полоску света, еще сознавая, что сердце не лопнуло и напор брандспойтов вот-вот ослабнет. В ту же секунду исчезла тьма, словно ее смыли белые потоки света со стен, и ученый воочию увидел люстру над головой.

 Инспектор сидел рядом с невидящими глазами и раскрытым ртом, голова безвольно лежала на спинке кресла, кончик языка вывалился, судорожно зажатый зубами. Браун слабо потянул на себя тяжелого, как покойник, инспектора и вдруг ощутил отдачу еле сопротивлявшихся мускулов. Жив! Эрнест даже нашел в себе силы вскочить и потрясти еще раз это уже не безвольное тело. И Фонтен ожил: в глазах засверкал огонек мысли, передавший вопрос губам:

 — Все?

 — Все, — сказал Браун. — Что нужно — валидол или нитроглицерин?

 — Обойдусь, — громко вздохнул инспектор и улыбнулся. — Кажется, уцелели.

 — Только потому, что я оборвал цветограмму минутой раньше. Даже четырех минут много. Только лошадиное сердце Мишо могло выдержать больше. Не понимаю, почему ошибся Лефевр. Кстати, что вы видели?

 Инспектор не ответил: разве расскажешь об ужасе, физически убивающем человека?

 — Я преклоняюсь перед вами, мосье Браун, — проговорил он. — Дальнейшее решение проблемы предоставляю вам. В газету так в газету. В правительство так в правительство. Командуйте.

 Ученый ответил рассеянным, задумчивым взглядом. Потом сказал:

 — Пока уничтожим следы нашего пребывания в этом змеином гнезде.

 Инспектор убрал в портфель остатки ужина и стряхнул крошки.

 — Все равно останутся.

 — Не останутся, — загадочно произнес Браун. — Нажмите вот эту кнопку со свастикой.

 — Зачем?

 — Последний эффект. Не бойтесь.

 Фонтен нерешительно вдавил багровый волдырь со свастикой до уровня всей панели. Ничто не загудело, не осветилось, не щелкнуло.

 — Теперь пошли, — сказал Браун.

 — Куда?

 — В эту дверь, видите? — Он указал на все еще открытый проем в стене. — И не удивляйтесь — так надо. Только парка жалко, — неожиданно прибавил он.

 Фонтен смутно подозревал что-то, но ученый не давал ему времени, чтобы уяснить себе эти подозрения. Так они и вышли, ничего с собой не взяв и ничего не оставив, кроме беспокоящих инспектора дактилоскопических отпечатков.

 — Их не найдут, — утешил его Браун.

 И опять не объяснил почему. Он явно торопился, сокращая дорогу к шоссе среди деревьев уже не в синеватом, а тускло-розовом тумане от розовеющего где-то за парком неба. Не останавливаясь, он посмотрел на часы.

 — До пяти минут осталось тридцать четыре секунды. Скорее! — сказал он, подхватив своего спутника под руки, и, почти пробежав с ним добрых полсотни метров, прибавил, уже задыхаясь: — Одышка. Стометровку уже не пробежишь — возраст. Ну, а теперь обернитесь.

 Над виллой «Шансон» вдали подымалось плотное черное облако. Оно расползалось, обнажая внизу зубчатую корону пламени.

 — Что, что? — вскрикнул инспектор.

 — Конец фирмы «Прощай, оружие!».

 — Но почему? — Инспектор спрашивал почти машинально, все еще не отдавая себе отчета в случившемся.

 — Вы хотите спросить меня, зачем ему это понадобилось? — пришел на помощь Браун. — А зачем уничтожают улики? Должно быть, все-таки вспомнил Нюрнбергский процесс. Между прочим, я разгадал секрет этой кнопки со свастикой всего за несколько минут до вашего появления. Воспламеняющее устройство с температурой в несколько сот градусов — сужу по огневой короне над виллой.

 — Моими руками! — вырвалось у инспектора. — Почему вы сами не нажали на эту проклятую кнопку?

 — Неудобно все-таки иностранцу уничтожать французское имущество.

 — Какое открытие погибло!

 Браун скорее прочел это по губам, чем услышал слова Фонтена.

 И тут он рассердился:

 — Не плачьте, инспектор. Пусть плачет Глейвиц. Вспомните Хиросиму — кобра Лефевра из той же породы. Кстати, уничтожьте ее дубликат в сейфе вашего шефа, пока об этом не вспомнили. Сошлитесь на прокурора: он же настаивал на сожжении пленки. Советую не медлить, даже если понадобится вскрыть сейф.

 — У меня ключи, — сказал инспектор.

 — Тогда считайте, что ничего не было — ни исповеди Лефевра, ни пленки с картинками. Вы не просили моей экспертизы, а я не был ночью на вилле «Шансон».

 За рощицей, на шоссе, завывая сиреной, промчалась на большой скорости пожарная автомашина. За ней другая.

 — Поздно, — сказал Браун. — Они уже не найдут ничего, кроме пепелища. Даже дым уже тает.

 Инспектор потянул носом воздух:

 — Странно пахнет. Не дымом, нет.

 — Горелой свастикой, — сказал Браун.